
КРУПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР

Игорь Карлов

(г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт)

**ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ЦК КПСС, ПРЕЗИДЕНТА СССР
ГОРБАЧЕВА М. С.***



Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова. Заведующий отделом международных связей журнала «Приокские зори».

VI

Единственное, чего удалось добиться Андрюхе, это уговорить брата побывать на учредительном собрании одной из новообразованных общественных организаций «афганцев». Ярослав, впервые за долгое время отложивший чтение и поднявшийся с дивана, перевесил награды с «дембельского» кителя на гражданский пиджак и отправился на ассамблею. Вернулся же оттуда опечаленный и в дальнейшем все разговоры на эту тему жестко пресекал. Андрюхе оставалось лишь махнуть рукой; он окончательно перевел Ярика в разряд людей не от мира сего.

А проблемы нашего дольного мира валились на Чернышева-младшего, не давая продохнуть! Андрюха крутился, как белка в колесе, распутывая все новые и новые бухгалтерские хитросплетения и законодательные узлы. В этой бесконечной гонке никак нельзя сбиваться с хода, нельзя замедлять бег без риска быть немедленно оттесненным другими марафонцами, целеустремленно рвущимися к обещанному на финише призу, топящими сошедшего на обочину слабака в волнах пыли и удушливого запаха пота. Нет, ни в коем случае нельзя останавливаться! И деловые люди, многозначительно подмигивая, подначивали друг друга: «Куй железо, пока Горбачев!»

Открытие собственной точки общепита позволило Андрюхе на деле убедиться, как щедро бывает вознагражден тот, кто возьмет на себя хлопотное дело заботы о желудках соотечественников. Через непродолжительное время кооператор Чернышев вернул заимодавцам большую часть взятых денег (родители, разумеется, могли и подождать); потом были возвращены проценты по долгам; а потом настал момент, когда Андрюха впервые с буржуйской аккуратностью вывел в гроссбухе сладостные слова: «чистая прибыль». Чернышев, надо отдать ему должное, не трясся над каждой вырученной копеечкой. Он прекрасно понимал верность расхожего выражения «жадность фраера сгубила», поэтому щедро делился доходами с «нужными людьми». В

* Продолжение с середины VI главы, начало повести см. № 2, 2017 «Приокских зорь».

результате все «нужные люди» оказались владельцем вновь открытой чебуречной очень и очень довольны, а потому появились новые «нужные люди», тоже вполне благосклонные к любым починам любезного молодого человека. Перед начинающим предпринимателем открывались широчайшие горизонты.

Андрюха прекрасно понимал, что пока сделан всего-то робкий шагочек к состоятельности, подлинное богатство только замаячило вдаль, лишь стало потенциально возможным, если играть по общим правилам. А правила были несложными, и очень быстро Чернышев их твердо усвоил. Если основополагающий постулат либерализма гласит, что свобода каждого ограничена свободой окружающих, то базовый принцип нарождавшейся олигархии был сходен: достаток каждого лимитирован величиной дохода «нужного человека», занимающего более высокую ступень на советской феодальной лестнице. Андрюха свято придерживался этого, так сказать, золотого правила кооператора, легко давая возможность «нужным людям» приобщиться к части заработанной им выручки, но люто ненавидя строптивцев, не желавших добровольно ограничивать свою экономическую независимость во имя соблюдения законных интересов третьих лиц.

Самому же Андрюхе денег хватало с лихвой. Да так ли уж много нужно молодому холостяку? Лишь досуг и представительские расходы требовали серьезных трат... Иногда родителям или брату перепадало несколько купюр, пропахших прогорклым маслом чебуречной. Доводилось оказывать родственникам и другую помощь — связями, услугами.

Однажды Ярослав позвонил Андрюхе на работу:

— Ты ведь все рестораны знаешь... Где можно недорого посидеть? Ко мне Малыш приехал.

— Какой еще малыш? — не понял Андрюха.

— Мы служили вместе. Малыш — это прозвище...

Вечером встретились у названного Андрюхой ресторана. Малыш оказался двухметровым громоилой с чудовищными кулаками. Тело бывшего десантника имело совершенные, какие-то даже античные пропорции и, без сомнения, достойно было бы экспонирования в музее, однако сам он казался излишне подвижным для выставочного образца, ибо его гигантские руки и ноги, обтянутые сухими легкими мышцами, ни секунды не находились в покое. Лицо исполина, на голову возвышавшегося над окружающими, было до нехорошей бледности испитым. Это не был радостный хмель человека, встретившего давнего душевного друга; в болезненно позеленевшем лице, в воспаленно посверкивающих глазах явно проявлялся многолетний запой, имевший целью окончательное самоистребление вследствие абсолютной чужеродности Малыша в тыловой жизни без подъемов по тревоге и марш-бросков, без необходимости спасать кого-то, а кого-то «мочить».

Когда Андрюха подошел к ресторану, невысокий Ярослав, смяв в горсти рубаху однополчанина, что-то назидательно тому втолковывал, для пущей нравоучительности методично ударяя его кулаком в грудь. Малыш, которого слегка водило из стороны в сторону при каждом ударе, ласково улыбался собеседнику. Однако улыбка слетела с его лица, лишь только Андрюха приблизился на расстояние броска. Мутным глазом великан покосился на попавшую в поле зрения движущуюся цель, принимая решение: немедленно устранить объект или дождаться приказа на уничтожение; и только когда Ярик представил брата, Малыш сам себе скомандовал «отставить». Вошли в обеденный зал вместе, причем Малыш, с трудом державшийся на своих длинных стройных ногах, привычно пригнул голову в невысоком дверном проеме.

Андрюху в ресторане знали, и вокруг их столика моментально засуетилась офи-

циантка. Чернышев-младший сделал заказ и присел рядом с «афганцами». Сперва он собирался побыстрее улизнуть, заранее зная, как пойдет беседа сослуживцев, но потом решил задержаться немного, до третьей-четвертой рюмки, пока не начнутся песни. Очень уж хотелось подольше покрасоваться рядом с Мальшом, этой совершенной боевой машиной, хотелось, чтобы ресторанная обслуга крепче запомнила, с какими ферзями Андрюха водит компанию... А, может, кто из знакомых заглянет...

Между по-десантному затяжными глотками водки и торопливым поеданием закуски молодые ветераны оживленно перекрикивались через стол: «А помнишь?..» «Ну, за встречу!» «А где Чук?..» «Да ладно!..» «Ты ротного видел?!..» «Ну, давай — второй тост, традиционный!» «Давай за наших, за тех, кто никогда не предаст, за тех, чьей дружбой мы можем гордиться!»

После того, как опорожнили первый графин, пригорюнившийся вдруг Ярослав, подперев рукой щеку, меланхолично глядя в пространство, вопрошал:

— А помнишь, мы думали: дембельнемся и будем перестройку толкать... Ускорение. Такое слово тоже было... Господи! Что за несчастная наша страна! Когда же здесь научатся ценить людей, которые хотят что-то делать? А ведь мы бы могли, мы бы сумели! И немало нас, и глаза горели, и кулаки чесались! Но нет, негодились ни в чем Отечеству своему... Заговорили, заболтали ДЕЛЮ!! А потому, что испугались нас: управлять нами тяжело, контролировать нас некому, остановить нас сложнее, чем убить... Куда теперь былой напор девался? Кто в церковь подался, кто в «металл» ушел... А мы-то думали перед дембелем: вот вырвемся с этой войны, таких славных дел наворотим! Будут нами гордиться родители, будут нас помнить дети! Мол, наше время пришло! Нет, опять не наше. Снова украли у нас дело. Дела нет, понимаешь? ДЕЛА! Еще одно обманутое поколение...

«Началось! — подумал Андрюха. — Пора валить отсюда!» Он отлучился будто бы в туалет, а потом потихоньку вышел из ресторана и уехал. Ни к чему ему было сидеть за одним столом с этими неудачниками, переживая вместе с ними обидную невостробованность и общественное неприятие. Уж его дело — чебуречную — никто не отнимет! Уж его-то никто не обманет! Уж он-то, действительно, еще всем покажет, и будет у него (не то что у Ярика) все не хуже, чем у людей!

Конечно, чтобы держаться на плаву, следовало крутиться почти без остановки. Иногда деньги просто валились на голову, но большей частью приходилось складывать копейку к копейке, экономить на сырье, выжимать грошики из дубово-неповоротливой бухгалтерской отчетности. Делал это Андрюха умно и расчетливо, хотя иногда вдохновлялся на рискованные операции, приятно волновавшие непредсказуемостью результатов. Да, случались финансовые потери, но Чернышев относился к ним стоически. Он верил в свою счастливую звезду, ошибался редко.

А после рабочего дня Андрюха с «нужными людьми» раскатывал на милых его сердцу «Жигулях» из одного ресторана в другой. Упорный Чернышев плел сеть полезных связей, как паук паутину. Впрочем, «вспрыскивать» новые знакомства было так славно и весело, что скоро представительские заботы и досуг слились в единое целое, называемое образом жизни. Вечерами Андрюха становился особенно азартен и раскован. Он с предопределенной фатумом готовностью мотылька устремлялся на призывное мерцание неоновых вывесок и желтый свет прокуренных ресторанов. Ему нравилось, вальяжно расположившись за стойкой, лениво перекинуться словечком со знакомым барменом, порой фривольно подмигнуть своей (своей!) официантке. Ему щекотали нервы мимолетные встречи с нетрезвыми женщинами и мнимомногочисленные разговоры с подозрительными особами, ему были по сердцу ухарские пляски в обеденном зале, демонстрировавшие, насколько разношерстная публика едина в своем порыве к разгулу. Атмосфера дешевого кутежа и надсадного веселья под ог-

лушающие однообразные аккорды расхристанного оркестра дурманила хмельной вина. Казалось, что вокруг близкие по духу сотрапезники и собутыльники, что все присутствующие дамы милы и доступны, а звучавшие из-за соседних столиков слова-приказы «салат «Столичный», «котлеты по-киевски», «двести грамм» тоже напоминали приклатненную расслабляющую музыку ресторанных лабухов. Андрюха придирчиво рассматривал сервировку своего столика, переводил взгляд на соседние и оставался доволен: одинаковые скатерки, пахнущие прачечной, одинаковые графинчики и салфетки, одинаковая еда в общепитовских тарелках. Андрюха оценивал свою компанию, наблюдал за другими — его была не хуже. Андрюха выходил в гардероб, где висело огромное зеркало, и исподволь рассматривал дымно и пьяно-расплывчатое свое отражение. Никому из завсегдатаев ресторана он не уступал: крепкие скулы, покрасневшие глазки, плотная фигура, немаркий костюмчик. Он возвращался в гудевший нетрезвыми голосами зал, благодушно плюхался в застолье. Да, он был на своем месте. Он был как все; все у него было как у людей.

В школе на уроке физики Андрюхе рассказывали, что в одном французском городе под стеклянным колпаком хранится отрезок стального швеллера — эталон метра. Вот и жизнь ресторанный представлялась Чернышеву такой же абсолютной нормой. Официанты размеренно вносили неизменные графинчики, салатки и котлетки, приготовленные по традиционной, закреплённой ГОСТами рецептуре. Ансамбль на эстраде периодически подавал в зал железные брусочки популярных мелодий. Время от времени мужчины бросали на женщин за соседними столиками заранее отмеренные взгляды, чуть короче нагло-призывных, чуть длиннее скромно-восторженных. Каждый завсегдатай ресторана свято соблюдал неписанный кодекс поведения, основу коего составляет гипертрофированное чувство собственного достоинства, готовое в любой момент истерически прорваться в мордобое или бое посуды. Все это входило в общепризнанные правила этикета. Все это было навсегда. Это стоило бы поместить в специальную витрину и бережно хранить, как один на всех метровый рельс. «Нормально!» — думал Чернышев, в очередной раз оглядывая зал своего любимого ресторана, и с чувством глубокого удовлетворения тянулся к графинчику на столе. Вот такой должна быть жизнь!

Однако не существует нетленных эталонов, все подвержено распаду... Самое величественное здание начинает разрушаться в тот момент, когда уложен последний камень, устоявшийся порядок вещей подвергается деформации в ту секунду, когда мы признаем его таковым. Незыблемые, казалось, устои почему-то дают трещину и рассыпаются, привычное течение жизни исподволь упирается в невидимую заперду, тайно меняет свое русло история, постепенно искажается облик века. Как уловить начало этих изменений? Почему они свершаются? Есть ли на то скрытые причины, или все в мире случается вдруг, и высшие силы не снисходят до объяснений? Дано ли человеку постичь суть великих перемен? Нужно ли постигать? Следует ли смириться с происходящими метаморфозами, или необходимо сопротивляться?.. Да, вопросики... И ломаешь над ними голову, хотя зовут тебя не Гамлет, принц датский, а просто Андрей Чернышев... Но удивительнее всего, что грозные глубинные сдвиги начинаются с мелочей, с того, что не представляется достойным внимания, а то и вызывает улыбку.

Так иронично улыбался Андрюха, когда впервые увидел диковинное даже для закаленного тотальным дефицитом «совка» явление — не помещающуюся в магазин очередь за мылом. «Мыться полюбили?!» — съязвил про себя Чернышев, не подозревая, какую бесчеловечную головомойку уготовила эпоха и записным чистюлям, и тем, кто плевать хотел на гигиену, и ему самому. Да, поначалу чудачки, десятками скупавшие еще сутки назад никому не нужные, скучные мыльные брусочки, выглядели

всего лишь забавно. В самом деле, кто мог предположить, что эти кирпичики чистоты, из которых томящиеся бездельем продавщицы галантерейных магазинов выкладывали настоящие крепостные стены за своими прилавками, непостижимым образом исчезнут? Кто ожидал, что единственное, чем были надежно, с запасом, затоварены склады — бесконечные ряды коробок с моющими средствами,— разлетится с легкостью мыльных пузырей?

Но вот на следующий же день после саркастических ухмылок оказалось, что дома у Чернышевых нет стирального порошка. Мать умолила Андрюху сходить в ближайший хозяйственный, где, по слухам, как раз «выбросили» импортный. Сын недовольно скривился, но пошел: мать ведь и для него стирала. Пошел, и стал в очередь, и провел в ней весь рабочий день до закрытия магазина, и, озверев от ожидания, хотел купить сразу тонну того порошка, но давали только по пять пачек «в руки». Стало не до сарказма, не до улыбок, не до шуток.

С того дня товарно-сырьевой голод лишь нарастал, а Чернышеву все труднее и труднее работалось, ибо со временем всеобщий дефицит стал сущностью экономической жизни. Какое-то время Андрюхе благодаря широким связям удавалось доставать нужные товары, но вскоре и ему перестали отпускать что-либо: не до него стало, ведь сами «нужные люди» начали испытывать нехватку, где уж тут соблюдать прежние деловые обязательства...

Продукты покидали Россию. Как перелетные птицы, они устремлялись в неведомые советским гражданам края, населенные беззаботными счастливыми, которые любили еду, но, главное, которых еда любила. Подгоняемые древним инстинктом служения сытости, съестные припасы косяками отправлялись в безвозвратную даль, без всякого сожаления оставляя насиженные места и призывными кликами увлекая за собой нерасторопные бакалейные товары. Грустно, по-осеннему, стыла проголодавшаяся страна, сиротливо жались друг к другу опустевшие колхозные поля, в бесильной злобе матерились вслед отлетающему продовольствию сельмаги, и даже городские гастрономы слезливо блестя глазами витрин, не понимая своей неприкаянной судьбы, не веря в свершившееся предательство.

Устрашенные угрозой надвигающегося голода, люди зверели в схватках за еду; сгрудившиеся в огромных количествах у пустых магазинов, они становились опасны, и как поведут себя агрессивные напуганные толпы, никто не мог предугадать. Тогда через расшатанный частокोल «железного занавеса» иностранцы стали перебрасывать в СССР продовольственные посылки, словно опасливый посетитель зоопарка, который, искоса поглядывая на категоричную вывеску «Животных не кормить!», все-таки бросает в вольер к воющим хищникам недоенный пирожок.

Вот и Чернышевым достался продуктовый набор, присланный из Германии,— отцу на работе выдали. Вечером собралась вся семья; поочередно рассматривали содержимое посылки, не понимая, что написано на этикетках, пытаясь по внешнему виду определить вкус и назначение присланного. Ярослав, брезгливо перебирая консервные банки, по своему обыкновению разговаривал не то с домочадцами, не то сам с собой, не то серьезно, не то шутил: «И что примечательно: никто не обратил внимания на самое главное! Ведь Запад своей гуманитарной помощью нажил себе у нас кучу врагов. Русские им этого не простят. Нет, действительно! Я как рассуждаю: вы, империалисты, можете с нами воевать, реализуя свою агрессивную внешнюю политику. Это понятно, и мы к этому готовы. И биться будем до последней капли крови, и в Берлин опять войдем, и флаг свой повесим. А там и помиримся с прежними врагами, простим им все былое. Вот к такому — к агрессии, к захватам, к жестокости — мы привыкли и готовы. Но присылать нам продуктовые посылки... Это оскорбление, это запомнится надолго... То есть, они нас жалеют. Не уважают, не боятся, а жалеют.

А нас жалеть не надо, мы сами кого хочешь пожалеем. И мы еще посчитаемся с вами, господу зажавшиеся буржуи. Придет срок! Я просто вижу испуганно-растерянные глаза какого-нибудь бургера, когда нашенский гегемон будет тыкать его в фейс кулачищем, приговаривая: «Вот тебе продуктовые посылочки, сволочь!»... Да, все-таки Киплинг был прав: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись... Никогда нам не понять друг друга».

Домашние, ставшие невольными слушателями этого монолога, неодобрительно косились на Ярослава. Его искренне любили в семье, однако сведавшая его мизантропия вызывала раздражение. Родственники уже смирились с тем, что Ярослав с ироничным прищуром поглядывал на окружающую действительность из-за обложки очередного журнала и ернически философствовал, не вставая с дивана, но понять и принять такого поведения не могли.

Андрюху же, в отличие от брата, постепенно охватывала тихая паника, ибо все его замыслы, все радужные планы рушились на безрыбье и безмясье талонной системы, которая пришла на смену эталонной ресторанной устроенности. Чернышев-младший находился в отчаянии, ведь его чебуречная, если и предлагала посетителям продукцию, то по такой цене за порцию, что в былое время на эти деньги можно было питаться сутки, а то и двое. Пришлось закрыть свое любимое детище как нерентабельное производство. Это стало чувствительным ударом по психике, несмотря на то, что основные доходы Андрюхе уже давно приносила не кооперативная забегаловка, а другие предприятия, созданные в лучшие времена. Однако чебуречная оставалась символом новой жизни, доказательством того, что можно стремиться и достигать, хотеть и мочь, быть не хуже других.

Болезненный внутренний надлом, который переживал Андрюха, получил символическое воплощение в незначительном, на первый взгляд, случае: в одном из баров Чернышеву порцию недешевого коньяку подали в майонезной баночке. Андрюха сначала даже не понял, что происходит, продолжал ждать свой заказ, но потом благоухание благородных коньячных спиртов дало ему понять, что в этой неказистой посудине находится предназначенный для него напиток. Андрюха набычился, грубо бросил бармену: «Это че? Че так пызорно-то?» Бармен улыбался смущенно и гадливо, пододвигая поближе клиенту коньяк в неожиданной таре, словно бы мочу, собранную для анализа в районной поликлинике: «Стаканов нет!» Андрюха после этого случая долго не мог успокоиться: «Ну, жратву, могу понять, съели. А стаканы-то куда делись? Как можно на Руси без стакана!»

Ну, правда же, как без стаканов обойтись? А их нет, как не было! Они исчезли из автоматов с газированной водой, где пребывали в сохранности десятки лет, может быть, изредка похищаемые выпивохами или разбиваемые дебоширами. Стаканов не стало в кафетериях, где дети пили соки и молочные коктейли, пропали из рабочих и студенческих столовых подносы, уставленные стаканами с киселем и компотом из сухофруктов... Предположение, что вся четвертьлитровая тара случайно разбилась в одночасье, заранее отметалось как совершенно бредовое. Ясно было, что за непонятным явлением стоит чья-то злая воля. Но чья?! Зарождался в сознании полусказочный образ сумасшедшего стаканного магната, при помощи злых чар собравшего хрупкий дефицит со всей державы на каком-нибудь острове Буяне и теперь чахнувшего над несметными стеклянными сокровищами.

И вот когда стало понятно, что в СССР не найти ни единого стакана — ни надежного товарища Граненого, ни фасонистого тонкостенного аристократа Круглого — какое-то непривычное для Андрюхи размышление забрезжило в голове. Стала сама собой оформляться мысль, что для комфортного ощущения себя в мире следует заботиться не только о том, чтобы у тебя все было «как у людей», но и о том, чтобы у

людей кое-что было бы, как у тебя. Следует подумать, хотя бы малость, о тех, кто вокруг, о тех, с кем ты, оказывается, связан множеством невидимых, но довольно жестких нитей. Вот и наглядный пример: ты можешь дома есть хоть из золотых тарелок, но если в баре тебе подадут коньяк в кое-как промытой склянке из-под майонеза, то ты испытаешь небывалое унижение, от которого не застрахуют ни денежные запасы, ни связи,— потому что всему народу одинаково плохо. Эпизод с майонезной баночкой обострил болезненность надлома в душе Чернышева. Он словно бы достиг дна, на которое погружался много-много лет. Он будто врезался темечком в илстую твердь и только тут осознал, что попал в западню, а дальше надо срочно выбираться. Андрюху охватил ужас задыхающегося пловца. Хотелось сильно оттолкнуться от дна и немедленно всплыть, но это представлялось почти уже невозможным: слишком глубоко он занырнул, воздуха и сил на обратный путь не хватит... А там, безнадежно далеко вверх, так манко угадывался преломленный толщей воды яркий солнечный свет.

Все вокруг катилось в тартарары. В любимых Андрюхиных ресторанах становилось пустовато, противно. Бесшабашное пьянство почти без закуски обжигало желудка и раздражало нервы немногочисленных посетителей, все чаще срывавшихся на ругань и драки. Тускнели призывные глаза некогда томных общепитовских прелестниц, мужчины уже не магнетизировали взглядами дам за соседними столиками, не стало былого задора в мелодиях ресторанных музыкантов. Теперь Андрюха как бы по принуждению, без вдохновения следовал завсегдатайскому этикету, крайне редко выходил в центр зала, чтобы слиться с подгулявшей публикой в ритме тупорылой мелодии, а если и поднимался из-за столика, то не было в его самодеятельно-плясовых движениях прежней вальяжной расслабленности. Чернышев потряхивал пухлым задом, дергал руками, топтался на месте. При этом казалось, что он хочет вбить в пол, растереть в пыль похожее на крысу нудное свое житье.

Одна шестая часть мировой суши содрогалась, словно бы от подступающего землетрясения, но никто не хотел верить в реальность угрозы. Народ, до полуобмороча уставший от ежедневной погони за ускользающим дефицитом, безучастно наблюдал за происходящим. Привычка безропотно подчиняться, десятилетиями вколачивавшаяся людям в головы, вытравила их волю, мистическая уверенность во всемогущей власти ввергла в апатичное оцепенение. Загипнотизированные неоглядной ширью своей земли и былыми великими свершениями, граждане страны победившего социализма не сомневались, что все как-нибудь и без них образуется, что у начальства есть верный план спасения; а начальство уповало на мудрейший нестигаемый народушко, способный все вынести, со всем справиться. И вот все вместе они неслись по накатанной колее, зажмурив глаза, в полной уверенности, что раз заведенные установления останутся нерушимы вовеки, даже не допуская мысли, что рухнет охраняемый мощнейшим государственным аппаратом, благословляемый научно-безошибочной идеологией строй. На окраинах страны вызрели и вихрились грозные центробежные силы, толкая державу в пропасть распада, а в глубине России приближение конца воспринималось с нездоровым оживлением, даже с юмором, с отчаянным юмором обреченных. Ярослав пророчески каламбурил: «Был у нас Советский Союз, а стал Советский Саюдис!»

Андрюху теперь уже тянуло побеседовать с братом: хотелось разобраться в себе и в мире, понять, почему вдруг все пошло вразнос, а Ярик всякого повидал, да вот читает постоянно, может, что умное скажет, объяснит, как жить дальше. Но Ярослав говорил все не то, не о том, отвечая, скорее, авторам бесчисленных проглоченных им журнальных статей, чем обеспокоенному насущными проблемами родичу. Так что задушевной беседы не получалось: старший из братьев легко заводился, начинал с разбегу и много говорить, но меньшей уже через минуту мало что понимал, понуро

свешивал голову. Ярик, заметив, что опять сбился на монолог, осекался: «Ну, не знаю, правда, зачем вся эта «заумь» нужна. Это, честно говоря, шарлатанство. Чисто русское шарлатанство: навывдумывать всяких фантастических вещей, головокружительных умопостроений, роскошных доводов, величавых параллелей... вот, выдумал, читайте. Читают (самое удивительное, кстати!). И добро бы еще что-то мраморное, нерушимое выдумал, а то ведь — химеры. Самого прославленного возьми, почитай — такая чушь! Прочитали, разобрались: за фасадом ничего не скрывается. Другого давайте читать, не менее прославленного. Этот мыслитель все наоборот передумывает, не так, как первый. Второго прочитали, отложили — не зацепило. Поверхностно. Приелось. Каждый может придумать. Вот мы с тобой можем сейчас написать что-нибудь про космизм, сверхидею, богочеловечество, человекобожие... Но зачем? Зачем? Чертовщина какая-то. Так и не понимаешь, где живешь: то ли в своем мозгу, то ли в Бердяевском (Соловьевском, Федоровском — не суть). А надо из черепной коробки вылезать, вылезать прямо в жизнь, в ней-то и жить! А жизнь... Ее, братишка, никаким мозговым силком не поймашь. Вот и выходит, что вся эта заумная писанина бесполезна, бессмысленна, глупа. А на окружающих людей посмотришь, на реальную жизнь их — по сравнению с ней книги кажутся вдвойне глупыми. Да не вдвойне, а в пятьсот тысяч раз оказываются глупее!»

Ярослав говорил резко, взволнованно. Временами казалось, что в его глазах, как случайная слеза, дрожит отчаяние. Этого отчаяния еще несколько лет назад не отмечали в веселом до дерзости взгляде призывника инструкторы учебного подразделения, тумачами вбивавшие науку побеждать в головы курсантам, готовившимся к отправке «за речку». Этого отчаяния не было в сузившихся от ярости зрачках новобранца в тот час, когда они вдвоем с Мальшом, с которым лишь накануне познакомились на перевалочной базе, отбивались от целой роты таджиков, кинувшихся на них в солдатской столовой. Ярик не испытывал отчаяния и тогда, когда, уже прибыв к постоянному месту службы, в первый раз доставал из обгоревшей БМД своих сверстников в бушлатах, пропитанных кровью. Ни один «дух», даже рассматривая лицо гвардии сержанта Чернышева через оптический прицел, не заметил бы в его глазах отчаяния. А вот теперь, «на гражданке», не давало жить горькое разочарование. Бойца цинично обманули и многократно продали: политики, вдруг почему-то выбросившие на помойку идеалы, которые так уверенно внушали Ярославу с детства, которые стали для него настолько дороги, что он готов был за них сражаться и умирать; военачальники, маршировавшие к очередному званию или награде по трупам своих солдат; руководители государства, бессмысленно начавшие войну, которую потом сами же объявили бессмысленной.

Чернышева предали и соратники-«афганцы», эта, как казалось поначалу, несокрушимая когорта избранных, способная своей светоносной волей к жизни возродить Родину, вернуть ей смысл существования, заключающийся в преодолении растлевающей рутины. Но вместо того, чтобы жертвенным усилием вытянуть сограждан из застойного болота бессмыслицы, вчерашние боевые товарищи, еще не привыкнув толком к так щедро, так внезапно дарованному миру, бросились в драку. Вместо того, чтобы гордо предъявить обществу благородные законы своего братства, спянного священной кровью павших, отставники злобно клеветали друг на друга, а то и брали своих же на мушку во время перестрелок за право «контролировать» очередную торговую точку. Как не прийти в отчаяние, видя, что братишки вновь берутся за оружие, но на этот раз ради обогащения кого-нибудь из лидеров своей группировки! Как горестно сознавать, что каптер в очередной раз подмял под себя солдата!

Но и на том цепочка измен не оборвалась. Ведь Чернышева предал младший брат, хитростью да подлостью добившийся освобождения от военной службы. По

большому счету, Ярослава бросили даже родители, так и не понявшие, не почувствовавшие главного в сыне, воспринимавшие лишь внешнюю сторону его непутевой жизни.

А вот теперь (Ярик вдруг как-то особенно остро ощутил это) пришлось столкнуться с лицемерием писателей и публицистов, тех, кому он в очередной раз поверил, тех, кто в очередной раз обманул его, взявшись за перо не из искреннего сострадания к своему народу, а лишь из желания продемонстрировать начитанность и искусство словесной эквилибристики... А что дальше? Кто еще и в чем облапошит его?! Нескончаемая череда предательств и впрямь могла довести до слез.

Юный рыцарь опускал свой меч не то чтобы в страхе, но в недоумении, а в душе его рождалось множество упреков: казалось, он один во всей стране серьезно относится к жизни и смерти, к воинскому долгу и служебным обязанностям, к героизму и самопожертвованию, к дружбе, справедливости и бескорыстию. Его трепетная жизнь, которую он хотел подарить людям, чтобы сделать их добрее, ответственнее, честнее, великодушнее, оказалась никому не нужна.

Он проиграл, и горше всего было сознавать, что причина поражения в его собственном несовершенстве, в неспособности соответствовать идеалу. Он сам своей ленью, сибаритством, снисходительностью к родным и друзьям исподволь и ежедневно предавал принципы, за которые сражался. Каждый раз, выпив лишнюю рюмку водки, он предавал и проигрывал. Хоронясь от гвалта «афганских» сходов на любимом диване, он предавал и проигрывал. Махнув рукой на плутни брата, в очередной раз смолчав, чтобы не поссориться с родней, он предавал и проигрывал. А победительницей из схватки с Чернышевым вышла повседневность, которая вроде радиации: неощутима, но смертоносна. Оказалось, что мирная будничность свирепее и коварнее душутима; от нее не отбиться ни калашниковым, ни ДШК. Тягучую обыденность невозможно одолеть. Она неизбежно и властно затягивает, поглощает, как болотная трясина, как забучие пески, как водоворот. Оставалось смириться или умереть.

Андрюха, никогда не отличавшийся душевной чуткостью, не мог взять в толк, что творится с братом. Если обратиться к нему за конкретным советом, то услышишь пространное рассуждение о закате цивилизации, о гибели империи, еще о какой-то фигне, которая никакого отношения к реальности не имеет. Ярослав усвоил неприятную манеру в разговоре позволять себе многозначительные недомолвки, отвечая на свои же потаенные реплики, а прямые вопросы собеседника игнорировать. Даже лексика у него стала непривычной. «И стыд от всех стран приемлем, и сладостно сами себя позорим. Возмечтавши однажды о счастливой будущей жизни, ждем ее страстно, но боимся наступления ее, как конца пути. И Того, о чьем приходе молимся, не хотим видеть и узнавать, побиваем камнями, изгоняем», — Ярослав переходил чуть ли не на старославянский.

Андрюха едва успел привыкнуть к постоянной ядовитой желчности в суждениях брата, как вдруг скепсис уступил место какому-то беззубому упадничеству, что в нестаром еще человеке невыносимо. Произошедшая метаморфоза вызывала раздражение и озлобление: «Нет, ну зачем ты тогда день-деньской сидишь над своими журналами, если ничего из прочитанного не способен применить практически, с пользой?» Андрюха совсем перестал понимать и всерьез воспринимать Ярика. Никто не мог помочь Чернышеву-младшему в делах, и никто не поддержал его словом!

Опять все приходилось устраивать самому, а это становилось с каждым разом труднее, ибо обрывались привычные и многократно опробованные связи, позволявшие «решать вопросы», надавливая на известные рычажки административной машины. Да тут еще вдобавок ко всем бедам безмятежное существование ресторанного плейбоя оказалось смущено странными и неожиданными притязаниями на его холостяцкую свободу.

Непонятное и загадочное происшествие, последствия которого долго не давали покоя, случилось с Чернышевым именно в ресторане. Давно уже не удавалось Андриюхе подцепить загулявшую бабенку: их, в принципе, мало стало в кабаках, симпатичных — того меньше, а если какая красотка и появлялась, то, как правило, со своим кавалером. А в тот вечер целая компания прелестниц залетела на огонек. Девчонки с какого-то завода. День рождения, может, отмечали, или обмывали премию... Тяжко пьяный Чернышев неотступно вился около них, щедро заказывал все новые и новые порции спирта «Роял» и ликера «Амаретто» — единственных имевшихся в наличии алкогольных напитков... Уже глубокой ночью, неизвестно каким образом и для чего, Чернышев оказался у дверей рабочего общежития, где лукавые обманщицы стали вдруг прощаться. Андрияха упрямо не хотел расставаться с ними, гоношился, заявляя, что непременно доведет каждую до самой кровати. Смутно помнил, как до зубной боли препирался в вестибюле с вредной вахтершей, потом одна из подружек вывела его на улицу, обвела вокруг здания и подтащила к запасному выходу. Там было уже открыто, их ждали, махали призывно и заговорщицки. Андрияха безвольно ввалился в черноту черного хода, почувствовал, как подхватывают его несколько пар женских рук, и отключился.

Проснулся в незнакомой комнате на скрипучей кровати. Один. Хозяйки, видимо, ушли на работу. Пытаясь не поддаться тошнотворному головокружению, встал, толкнул входную дверь. Было не заперто. Голова плыла, Чернышев двигался по таинственному кубическому тоннелю коридора, словно ныряльщик, не слыша ничего, с трудом преодолевая изменчивое пространство, то самопроизвольно сдвигавшееся, то ехидно прятывшее от него углы и повороты. Не хватало воздуха, хотелось скорее на улицу. Мимо вахты проходил молча, понуро. На него кричали, словно собака брехала, пытались схватить за рукав. Чернышев заторможено отмахнулся, выбрался наружу. Позорище! Даже вспоминать об этом не хотелось...

А месяца через два все в том же кабаке знакомый официант, кривя губы в понимающей усмешке, доложил Чернышеву еще об одном неприятном эпизоде. Искали Андриюху. Приходила тут одна. Не то комсорг с завода, где работали давешние девичьи, не то сердобольная подруга одной из них. Расспрашивала, ругалась и даже угрожала. Кричала: как-де это только пускают в рестораны низких, безнравственных типов; утверждала: Маша, мол, беременна; усовещала: нельзя же, дескать, из-за одной ночи портить жизнь девушке. Официант уверял (хотя веры официанту никакой), что он Андриюху не выдал, от всего отперся, но настырная правдоискательница обещала неизвестного пока подлеца и подонка обязательно выявить и обязательно женить на Маше.

Словом, полный бред! Абсурдность ситуации заключалась в том, что Чернышев не помнил никакой Маши. Ни имен, ни лиц тех, у кого ночевал он, не помнил. Больше того: абсолютно стерлось из памяти все, что происходило в их комнате. Общежитие помнил, вертухайскую вахтершу помнил, проникновение через запасной вход помнил, а потом — как отрезало. Сплошная чернота, засвеченный фотоснимок. А учитывая его состояние после обильных возлияний в тот вечер, трудно даже предположить, зачем он мог пригодиться женщинам. Андрияха склонялся к тому, что, скорее всего, ничего и не было, что он беспробудно уснул, едва переступив порог той злосчастной комнаты, а то и раньше, еще поднимаясь по лестнице. Хотелось отмахнуться от этой истории, а не получалось, поскольку завелся в душе какой-то червячок, впился в грудину с внутренней стороны и постоянно ворочался. И без того простое Андрияхино существование многократно усложнилось после того, как он оказался замешанным в комически-постыдном приключении.

Андрияха не мог отделаться от накрепко утвердившейся в душе суеверной убеж-

денности: из-за случившейся нелепости отныне все пойдет наперекосяк, дальнейшая жизнь окажется чередой сплошных провалов. И тогда, видя выпадающие на его долю несчастья, окружающие станут жалеть Чернышева-младшего и одновременно винить в неумении реализовать прекрасные стартовые возможности, хотя на самом деле виновником является непутевое время, которое так искорежило его человеческую натуру, что нет возможности найти успокоение ни в работе, ни в пьянстве. Да, истинным виновником всех его неудач является предательское время, которое некогда поманило Андрюху дивной сказкой о том, что можно почувствовать себя счастливым, если быть «как все», а теперь сказку отнимало, обязывало стать самим собой, на «всех» не оглядываться и самостоятельно отвечать за происходящее... Впрочем, завиральными теориями в духе Ярослава проблему не решить. Необходимо разработать план практических действий на случай туманной, а оттого еще более пугающей расплаты... пока неизвестно за что.

Немного поразмыслив, Чернышев пришел к выводу, что, вероятно, вокруг него плетется заговор. Скорее всего, он стал жертвой отработанной преступной схемы, ведь пережитое им болезненное (на грани жизни и смерти) похмелье в равной степени можно было объяснять как тем, что обильно употреблявшийся «Роял» является, по сути, техническим спиртом, приспособленным согражданами для питья от полной безысходности, так и присутствием в упомянутом пойле препаратов, незаметно добавленных коварными девицами, с которыми он опрометчиво свел мимолетное знакомство. Эпические сказания о «клофелинщицах», валькириях угарного веселья, соблазняющих мужчин, а затем лишаящих их имущества, а подчас здоровья и даже самого живота, из уст в уста передавались друг другу завсегдатаями ресторанов и Андрюхе были прекрасно известны. Правда, его история не походила на эти саги, напоминающие не то античные мифы, не то фрейдистские толкования снов, поскольку, вроде бы, ничего не было украдено, но у преступниц вполне мог быть и другой умысел. Видимо, разыграв комедию с мнимой беременностью, его хотят «раскрыть» на деньги якобы для аборта.

Внутренне содрогаясь от отвращения к сребролюбивым и бессовестным представительницам «слабого пола», Чернышев все же решил в случае подобного обращения требуемую сумму шантажисткам выдать. Разгульная ресторанная жизнь приучила Андрюху платить по счетам и платить с чаевыми — это делало кутеж слаще и безопаснее, это входило в свод правил нарождавшегося слоя «новых русских» с их знаменитой «распальцовкой», широко вошедшей в обиход одновременно с появлением в кругу кооператоров многочисленных уголовников, привыкших «гнуть пальцы». Тут уж, кстати, следует сказать, что не только криминальные корни имела манера при разговоре расставлять «пальцы веером». Уже в прошлом веке Чехов отметил Лопухинское размахивание руками как характерную черту быстро разбогатевших дельцов, чьи размашистые движения невольно выдавали присущую им агрессивную захапистость и потаенное желание, тратя деньги бессчетно, откупиться от любви или ненависти. А еще раньше, в непроглядной дали столетий, человек, выставляя перед собой ладони с растопыренными перстами, стремился оградить себя от напасти, в прямом смысле отмахнуться от повседневной туги, отстранить чуждое да дурное, ритуальным жестом заклиять беду. Вот и выходило, как это ни смешно может показаться на первый взгляд, что «новые русские» отразили в своей угловатой пластике тип поведения, сложившийся в древнейшие времена.

Но не только желание звоном монет в мощне отпугнуть горе-злосчастье повлияло на решение Андрюхи заранее приготовить отступные для напористых нахалок. Главное — не было полной уверенности в своей непричастности к беременности неведомой Маши. Вдруг он и впрямь отец? Тогда «по любэ» следовало раскошелиться.

В конце концов, не пропил же он окончательно свою совесть, не затер мятыми рублевками в постоянных коммерческих делишках.

Этот внезапный укол совести в сочетании с поразившей воображение потенциальной возможностью передать титул Чернышева-младшего по наследству подействовал на Андрюху неожиданно. Он решил ни от кого не скрываться, а напротив: принять вызов, добровольно вернуться в треклятое общежитие и выяснить отношения с заочными обвинительницами. Андрюхе было бы даже любопытно, преодолев стыд, побывать еще раз в той комнате со скрипучей кроватью, рассмотреть тех девушек, которые его разыскивали. Хотелось, чтобы расплывчатые женские пятна обрели бы очертания фигур, черты лица, голоса и запахи, хотелось понять, что за люди были с ним в ту беспросветную ночь, есть ли у них душа и что они думают о Чернышеве. Он живо представлял себе, как уверенно пройдет по коридору, с пьяных глаз показавшемуся ему диковинной ловушкой для одинокого мужчины, и убедится, что ничего необычного в том коридоре нет; как найдет комнату, где ночевал, — тут уж на интуицию только надежда, ибо номера апартаментов не помнил напрочь; как без стука откроет нужную дверь, молча прошагает до центра помещения, по-хозяйски сядет к столу, обведет суровым взглядом стусевавшихся жилищек и, безошибочно определив (опять же по наитию), какая из них беременна, дерзко спросит ее: «Ну че? Какие вопросы?»

В глубине души таилась беспочвенная и оттого непобедимая надежда: вдруг таинственная Маша, якобы ждущая от него ребенка, окажется белокурой красоткой с голубыми глазами, этакой Барби, притом нежной, скромной, все понимающей, все прощающей? Мечталось, что, может, приглядятся они друг к другу, да и заживут в согласии. Благородный Андрюха не станет попрекать ее тем, что до него у нее уже был другой мужчина. А осчастливленная женщина однажды, преодолев скромность, признается, как в памятный вечер их знакомства была покорена мужским шармом Чернышева, очарована его силой и статью, как не смогла совладать с собой, и сдалась, пала под валом нахлынувшей страсти. Сладостно было именно этой надуманной романтикой наполнять темноту угарно-обморочной неизвестности прошлого, а не тем, что легче всего представлялось: надсадный пьяный храп и облеванная простыня.

Если бы и впрямь в обшарпанной комнате рабочего общежития ждала Андрюху принцесса с золотыми косами и небесного цвета глазищами, то дальнейшие события могли бы развиваться даже под марш Мендельсона. Этого Чернышев не исключал. В конце концов, он уже не мальчишка, можно было бы подумать и о семье. Жена-куколка и прелестный голопузый пупс помогли бы ему начать новую, осмысленную жизнь, успокоили бы душу, которая как с цепи сорвалась — болела, задыхалась от бухгалтерской пыли повседневности и забывалась лишь в безудержном кабацком алкоголизме.

Вскоре грезы о судьбоносной встрече с любовницей-незнакомкой полностью захватили Чернышева, однако он постоянно откладывал свидание. То дела срочные находились, то накатывала непреодолимая усталость после коммерческих свершений и, чтобы разрядиться, следовало отдохнуть, посидеть в ресторации. А то просто: «Не поеду, и все!» Андрюха подсознательно опасался... нет, не возможного скандала, даже не вахтерши на входе в общежитие. Он боялся разбить складную, но хрупкую мечту свою о грубую реальность. Догадывался, что не существует в природе никакой принцессы, а есть потасканная девка с припухшим от скуки лицом, плотная «телка» в засаленном халате, который она, говоря с Андрюхой, будет придерживать рукой у ворота, чтобы спрятать заштопанную комбинацию на невысокой груди. Чернышев справедливо полагал, что на самом деле, заявись он в гости, его и в комнату-то не

пустят, а весь разговор произойдет в дверях, причем собеседница будет все время нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, шаркая растоптанными тапочками, и исподволь коситься на карманы его брюк: в котором из них кошелек?

И вот на такой противной кувалде Андрюху хотят принудить жениться... Это же верный развод через самое непродолжительное время. Тогда придется платить алименты ребенку, хотя отцовство Чернышева еще не доказано. Да и жена при расторжении брака уже может претендовать на часть Андрюхиного имущества (после краха чебуречной кое-что еще осталось, и по теперешним временам совсем не хилое кое-что). Конечно, весь свой бизнес Чернышев не открыл бы никому: ни бандитам, ни налоговикам, ни (тем более!) жене. Но делиться даже частью... И с кем?! Он ведь и представления не имеет, о какой женщине идет речь.

Как глупо все устроено в мире! Почему обязательно надо жениться? Зачем пускать в свой дом постороннего человека? Для чего все эти дети? Еще привыкнешь к ним. Придется ограничивать себя, отказываться от некоторых мелочей, прочно вошедших в твой быт. Андрюха в сердцах сплевывал: в семье ли, на работе ли — всюду приходится под кого-то подстраиваться. Люди душат себя условностями законов, морали, этикета. Мир никак не уразумеет несложный вроде бы постулат: свобода каждого ограничивается только свободой другого. И еще: свобода есть осознанная необходимость. Это же так просто! Этому даже в торговом техникуме учат, на занятиях по общественным дисциплинам. Отчего же, отчего человечество не примет эти высказывания как руководство к действию? Почему никто на земле не осознает необходимость ограничить свою свободу во имя свободы Андрея Чернышева?

Ему же, напротив, приходится считаться и с бзиками Ярослава, и с выпендрежем случайных ресторанных знакомых, и с заскоками зачем-то закутавшегося в простыню мужика у обочины... Обо всех, как ни странно, должен думать Андрюха, даже о не родившемся пока ребенке! То есть: не все для него, а он для всех?... Оказывается, свет устроен не андрюхоцентрично, а совсем по другому принципу, который сознание отказывалось постигать, а душа принимать. И ничто не помогало смириться с этим раздражающим фактом: ни начинавшие тяготить посещения ресторанов, ни банно-развратные посиделки с «нужными людьми», ни ночные гонки на любимом автомобиле, гонки с самим собой.

Вот и сейчас, когда он с остервенением гнал «Жигули» по пустынным улицам, вся желчь в нем кипела, и не находилось в мире средства, способного умерить это горькое кипение. Андрюха мчался по темному проспекту, пытаясь вырваться из абсолютного одиночества, и не у кого было ему спросить совета не только о том, как жить дальше, но даже о том, отправляться ли завтра в общежитие на поиски своей судьбы или нет. В самом насущном деле никто не мог ему помочь.

(Продолжение следует)



Яков Шафран
(г. Тула)

ГРИШИНО ДЕТСТВО*
Главы из повести



Член Академии российской литературы, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Лауреат всероссийских литературных премий: им. Н. С. Лескова «Левша» и «Белуха» им. Г. Д. Гребениčkова, лауреат премии русских писателей Белоруссии им. В. Блаженного. Заместитель главного редактора — ответственный секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег» журнала «Приокские зори».

Григорий учился в русской школе (была еще в поселке белорусская, где все предметы преподавались на белорусском языке). Все русские и еврейские, а также дети многих белорусских семей, учились в русской школе. Но «беларускамова» и «литэратура» преподавались и здесь, правда, без обязательного посещения. Еврейские дети класса, кроме Гриши и Семы Жировского — сына фронтовика-артиллериста, — не посещали этих уроков. Грише же нравились эти предметы, и он душой болел за тяжелую долю белорусского народа в царской России, угнетавшегося польской шляхтой, русским чиновничеством и, — это потом, намного позже выяснилось, — безбожно и поголовно спаиваемого корчмарями, — как это ни больно было констатировать, лицами Гришиной национальности. Однако среди классиков белорусской литературы был один писатель-еврей — Змитрок Бядуля**.

Придя из школы, поев, Григорий не садился за уроки, как это делало большинство ребят, а шел во двор, и летом с утра и до позднего вечера, если был один, гонял мяч или прыгал в высоту, с ребятами же играл в войну, шпионов-разведчиков или в разные игры с мячом; а зимой несколько часов подряд — по большей части один — катался на санках с небольшого уклона горки (вся усадьба спускалась к низине, к болоту), там же — на лыжах, стараясь разогнаться и проехать, как можно дальше.

Зимой, в сильный мороз (а тогда, в пятидесятые-шестидесятые годы климат был классическим: январь — солнце и мороз, февраль — пасмурно, в основном, и снегопад с ветром, вплоть до вьюги; март — солнце и постепенное таяние снега; апрель — ручьи и пробивающаяся зелень, и так далее) за окном сильно гудели электропровода, которые были натянуты над росшими вдоль улицы ясенями и липами.

Зиму Гриша очень любил в январе: светит яркое солнце, все как стеклянной пы-

* Окончание. Начало в № 4, 2017 «Приокских зорь».

** Змитрок Бядуля — Самуил Ефимович Плавник родился в небогатой еврейской семье. В своих произведениях писатель стремился показать тяжелую долю рабочих («Ля вапеннайгары»), рассказывал о горе людей, которые пострадали от пожара («Чырвоная казка»), показал трагедию крестьянина в столкновении с жестокостью жизни («Без спведзі»). Показал всю реальность и сложность крестьянской жизни, чему помогла близость литератора к сельской жизни и понимание души крестьянства.

лью посыпано, деревья в белом, дым вьется из труб, на улице скрипит снег под полозьями проезжающих мимо саней и под шинами машин... Наступает ранний и тихий вечер, солнце уходит в лиловые тучи, луна еще не взошла, на снег к востоку ложится уже ночная мгла, и улица с редкими прохожими вдали сливается с ней. А вот Гриша с родителями поздно возвращаются из гостей. Светлая ночь вокруг, в поселке пусто и тихо, луна освещает снег и все вокруг своим мягким светом.

Декабрь же не нравился ему — суровая погода, утро наступает поздно, но солнца не видно и тогда, серый морозный день, деревья тоже стоят в серо-сиреновом инее. День короткий, рано вечереет, на западе сквозь темно-серое небо проступает красная полоска зари, потом медленно тает, мороз усиливается и наступает тьма.

У читателя может возникнуть законный вопрос — что это за стремление прыгать в высоту? Все просто: на школьном уроке физкультуры Гриша показал в этом виде лучший результат из всех одноклассников (кстати, как и в беге на шестьдесят метров, и в прыжках в длину). Дома, соорудив во дворе два столбика с рогатулками на ободках и положив на них планку, он стал тренироваться, стараясь каждый раз поднять ее чуть выше.

Мяч — обычный детский, резиновый и двухцветный — гонял тоже не просто так, а со смыслом: разогнался и, ведя мяч до определенной черты, бил с нее по воротам — открытому проему сарая, — стараясь забить гол, выставляя сам себе оценки: вышую, если попадал в «девятку», и так далее, по убывающей.

Мечтал паренек о пионерском лагере, горячо просился у матери, но... Пригласила она девочку Аню, его одноклассницу, заранее условившись с ней, что она скажет. Ну, и рассказала та про «вареных червей в супе» и «лесных бандитов», да поклялась больше никогда туда не ездить...

Мать строго следила за Григорием и просила соседей и знакомых немедленно сообщать ей, куда он направлялся и где его видели. Порой даже с работы прибегала, если Гриша уходил далеко от дома, бежала следом за ним и возвращала его. Соответственно, и отпрашиваться у нее куда-то было делом бесполезным — не пускала. Однако потом, в отрочестве, вдруг не стала возражать против его походов на занятия в кружки, на вечера и школьные танцульки. Да вся беда в том, что навыки общения вне дома и своего двора у Гриши не сформировались — словно жил он на острове, — отсюда многие его будущие жизненные неприятности, отсюда, может быть, и застенчивость и нерешительность, вплоть до густого покраснения, когда — при публичных выступлениях: в детском хоре, в праздничных декламациях, перед классом — кровь обильно прилиwała к голове и пылали уши.

Однажды у Гриши сильно разболелся зуб. Мать отпустила его одного в поликлинику. На обратном пути, после благополучного избавления от зуба и боли, зашел он с одним мальчиком, с которым подружился у кабинета зубного врача, на поселковый аэродром, где стояли два «кукурузника». Непосредственный Гриша, недолго думая, подошел к одному из них и поднялся по ступенькам трапа, чтобы заглянуть в иллюминатор. Вдруг услышал: «Куда лезешь, ж...я морда?!» — это сторож так среагировал. Было больно от несправедливости — ведь он ничего плохого не хотел сделать — и от обиды, еще больше, чем от зуба. Тогда-то он понял, насколько душевная травма сильнее физической. Мальчик, белобрысый, со стрижкой не накоротко, обнял его за плечи и сказал: «Пойдем отсюда!». Они шли по дороге, а когда подходили к Гришиному дому, он на прощание подарил ему большой шарик от подшипника, хотя тот у него был один, сказав: «Я себе еще достану. Бери!» Как верно пословица: «Мал золотник, да дорог!» или «Хороша ложка к обеду».

Узнав страсть Гриши к «футболу», тети в один из своих приездов подарили ему настоящий футбольный, кожаный мяч. Да вот беда — женщины, что скажешь, — забыли приложить к нему насос. Вышел он с мячом на улицу, глядь, идет одноклассник Шурик Молодцов. Увидел он подарок, завидки, видно взяли его, и говорит Грише: «У меня дома насос есть, пойдем, надуем и с ребятами в футбол погоняем!» Пришли. Взял он мяч и с ним — в дом. Гриша, было, пошел за ним, но Шурик засмеялся: «Да я сейчас, быстро надую и вынесу!» Прошло минут пятнадцать, выносит он надутый мяч. Собрались ребята, стали играть. Через некоторое время мяч сдулся. Все сокрушенно вздохнули и разошлись. Один Шурик стоит, улыбается: «Ну, что делать, такая камера попалась!» — говорит. Позже он много пакостей делал Григорию. Тогда-то Гриша и понял, что с мячом не все так просто было: или проколол, или подменил камеру на порванную. Ну, что делать? Искать хоть каплю доброты и порядочности у девяти-десятилетнего человека, если у него уже от рождения внутри иной дух, все равно, что искать, как говорится, кроликов в шляпах, то есть — гиблое дело.

А несколько лет спустя пришли к Грише друзья: Коля Охрименко — сын первой учительницы, Евдокии Дмитриевны, и Сашка Травинский — сосед по улице. То да се... Решил Григорий похвалиться своей коллекцией марок. Принес, ребята с интересом стали их рассматривать. И было на что посмотреть! Там было много иностранных и художественных советских — результат множественных обменов, в том числе и по переписке. «Да, хорошие!» — сказал Коля, когда последняя марка была рассмотрена. «Попить бы, а то селедки наелся», — промолвил Сашка. Гриша пошел за водой и кружками. А когда пришел, марок на столе не было. «Где они?» — спросил он. А ребята смеются, мол, спрятали в доме, поищи — найдешь. Распрощались и ушли. Весь вечер искал Гриша марки, и на завтра утром — все перерыл, но ничего не нашел...

Так вот его и учили — не быть доверчивым.

А тогда Шурик стал относиться к нему почему-то очень агрессивно. Несколько раз бил кулаком. А был Гриша в детстве худющим мальчиком — хлюпиком, одним словом. Пытался как-то дать отпор, но силы были явно неравны, и дело кончилось синяками. Мать, видя такое дело, стала решать вопрос по-своему, начала угощать Шурика конфетами, задабривать его. Гриша нервничал, не хотел этого, возражал матери, но она, как волевая женщина, что решила, то и делала. Ему это было неприятно и, повлияв на взаимоотношения со сверстниками, нанесло психологическую травму. Но ничего уже поделать было нельзя.

Помнит Григорий: приехал в Брагин из Минска с одинокой мамой «минчанин» Жора. Он пришел в класс и долго, пока не вырос из нее, ходил в серой форменной школьной форме и фуражке, которые мы в сельской школе отродясь не видели. Он стилижничал, по нему сохли девчонки, и он много хвалился насчет своих походов.

Как-то, в седьмом классе, Гриша не выполнил домашнего задания по русскому языку. Когда же на уроке учительница попросила показать, он соврал, мол, забыл тетрадь дома. Она отправила его с урока за тетрадкой. Естественно, Гриша тетрадь не принес и снова солгал — не нашел. Учительница перед всем классом наотмашь дала ему пощечину. Он смолчал и в классе, и дома...

Однажды родители пригласили столяра что-то сделать по дому. Это был отец Гришиного одноклассника Володи Батулина. Помнит Григорий его вежливый, спокойный и внимательный взгляд, коротко остриженные и очень чистые ногти, и обед, завернутый в кипейно чистый платок, — ровно нарезанные кусочки сала с розовыми

прожилками мяса и с запахом чеснока, и столь же ровно нарезанный белый — не серый и не батон — хлеб, а также соленые, пахнущие чесноком же и укропом огурцы, которые он резал на кругляки острозаточенным перочинным ножом. Ел он с достоинством и уважением к окружающим, что выражалось и в осанке, и в спокойных и размеренных движениях, и в том, как собственно ел, и во взоре спокойных серых глаз.

Сына Володю отец держал в строгости. Тот был сдержан и уважителен, хороший и верный товарищ. Одежда его была не богата, но всегда чиста и хорошо выглажена.

Всю жизнь Григорий вспоминал их — отца и сына — и думал: «Побольше бы таких простых, но культурных и достойных людей!».

За окнами тихая ночь. Луна стоит не высоко на небе, хорошо видны мерцающие в глубокой синеве звезды. Светлеет на земле, на ветках деревьев у дома, на крышах соседних домов, на журавле колодца свежий, падавший вечером, снег. Гришу, залюбовавшегося у окна, стало клонить в сон — усталость дня брала свое. Он ложится в постель, закрывается одеялом с головой, подворачивает его под себя со всех сторон, чтобы не было никаких отверстий — «в конверт», как учили его тети Руфа и Лиля. Сон спускается на Гришу, сладость наполняет душу, сквозь засыпание слышит он обрывки слов, долетающих из столовой. Мечтает Гриша, чтобы мама присела у его постели, погладила по голове, поцеловала в щеку, но... И снится Грише как бабушка Рая (она уехала тогда к тете Руфе в Орехово) сажает его на колени, обнимая, прижимает к груди и говорит ласковые слова. Гриша обоняет ее запах, и спокойствие и любовь растекаются по всему его телу от родного, полного нежности голоса.

Бабушка Рая часто вспоминала, как мама ее рано умерла, когда той было несколько месяцев. Отец ее быстро женился, и девочка жила в семье как служанка и нянька для сводных братьев и сестер. Дед Илья, родной брат ее, быстро уехал в Ригу и устроился подмастерьем к сапожнику. Бабушка вскоре уехала туда же за ним и работала прислугой в богатой еврейской семье, а в 17-м году она из Риги переехала в Петроград, устроилась разносчицей каких-то (каких — Гриша не помнил) товаров, а между делом передавала записки — однажды даже самому Ленину, выступавшему в мае на митинге на Путиловском заводе.

Когда начался голод, бабушка приехала в Тулу, устроилась работать в детский дом. На лето дети с воспитателями и младшим персоналом уезжали в Велегож. Там и познакомилась Рая с Михаилом, своим будущим мужем, приехавшим в 16-м году из Брест-Литовска в Тулу по делам фирмы и так и оставшимся здесь.

Бабушка была неграмотной. Михаил научил ее буквам, писать и читать по слогам, а в свободное время читал ей вслух. Более всего бабушке Рае запомнился роман Виктора Гюго «Отверженные», и она часто рассказывала Грише историю преобразования, дальнейшего трагизма и благословенного окончания жизни Жана Вальжана, истории других героев этого замечательного произведения.

Бабушка Рая похоронила троих своих детей. Ее первенец, мальчик, умер, когда ему было всего несколько месяцев. Потом старшая дочь — Любовь, — когда приехала с фронта, где рыла под Киевом окопы и спаслась от наступающих немцев, переплыв Днепр. Умерла она, отравившись консервами. Семья — бабушка с тремя малолетними детьми — во время войны находилась в эвакуации, в Узбекистане, где бабушка работала в андижанском детском доме. И, наконец, тетя Лилия, когда бабушке Рае было уже восемьдесят лет. Тетя Лилия работала акушер-гинекологом в больнице. Она буквально всю себя отдавала больным, днюя и ночуя возле них, особенно после операции. Но при этом... ожидала такого же ответного добра — не денежных и иных воздаяний, а именно добра! — от них после выздоровления. Став взрослым, Григорий понял — добро нужно делать без всяких упований на аналогичный ответ.

В семье усилиями бабушки Раи при молчаливом непротивлении этому матери, постоянно создавался культ двух тетей — Лилии и Руфины. Они учились в медицинском институте в Ярославле, предварительно окончив медучилище в Бресте, на родине их отца, деда Григория. Тот в 38-м, уже работая в Туле, за ужином со знакомыми сказал, что настали плохие времена. Кто-то донес на него, он был арестован и больше не вернулся... Так они боялись даже заикнуться тогда, в Бресте, чтобы найти улицу и дом, где дед родился и жил. Шли 1952 — 53-и годы...

Кстати, мать часто рассказывала, как в 38-м подъехал «черный воронок», вошли люди в форме, зачитали какую-то бумажку, обыскали квартиру, перевероршив все вещи и книги, и стали уводить ее отца. Она, двенадцатилетняя девочка, бросилась на них, крича: «Уходите, не отдам моего папу!»

Мать часто рассказывала и о том времени, когда немцы подходили к Туле, об эвакуации заводов и семей их работников, об ополченцах, о том, что были и те, кто со злорадством ждали прихода оккупантов.

Итак, перед приездом тетей-студенток на каникулы, бабушкой создавалась такая атмосфера, что дети воспринимали это событие как чуть ли не явление божественных существ. По той же причине они не подрабатывали, как это делали многие нуждающиеся студенты — очень трудно было прожить в городе на одну маленькую стипендию, — а ежемесячно, ни мало не сумняшеся, получали большие посылки с продуктами от довольно бедной семьи, с тремя детьми.

Кстати, несмотря на это, к матери Григория, сестре своей, они относились холодно, считая ее человеком более низкого сорта, а отца — рахитичного, не высокого роста, с перекошенными под сорок пять градусов плечами — просто не уважали за немужественность. Племянников же баловали и, несмотря на свою бедность, привозили сладости и какую-нибудь игрушку.

Летние каникулы тети проводили в Брагине, помогая по дому, в огороде и саду, загорая и занимаясь с детьми.

Созданная атмосфера сделала их для детей непререкаемыми авторитетами на долгие годы, что имело свои и положительные, и отрицательные моменты, ибо, как потом показала жизнь, по сути, они были в чем-то умными, в чем-то ограниченными, в общем же, далеко не мудрыми и не практичными людьми, даже более чем большинство советских людей в то время.

Когда тетя Руфа окончила институт, ее направили по распределению в сельскую больницу в деревню Орехово Костромской области, где дали служебную квартиру в большом добротном деревянном доме на три семьи. В двух других квартирах жила медсестра, тетя Тамара, и семья работника леспромхоза с двумя дочерьми, одна из которых была ровесницей Гриши, ей было тогда десять лет.

К тете Руфе приехала жить и помогать бабушка Рая. Все соседи жили дружно и совместно проводили вечера за игрой в домино и лото вокруг большого стола во дворе с обязательными жареными семечками.

Бабушка Рая была очень доброй, заботливой и порядочной женщиной, но иерархия ее ценностей была такова: на первом месте стояла национальность и национальная религия, далее — семья, потом всё и все остальные. У Григория же с ранних детских лет все было наоборот: на первом месте стояли люди, потом семья и далее — все остальное. Получается, разные Боги были у него и у бабушки Раи... Может, поэтому так мало любви Гриша чувствовал в жизни — не «такой» он был, «чужой для своих, свой для чужих». Но потом, повзрослев, с 20-ти до 30-ти лет он стал диаметрально другим... что было, считает, наносным и искусственным. Но это уже другая история... А когда Григорий был уже в годах, он услышал про себя: «Да какой он еврей? Те стараются, прежде всего, денег заработать. А он...».

В течение двух лет, пока тетя Руфа работала в Орехово, мать, в один из летних месяцев, брала отпуск и с детьми приезжала отдыхать к ней. В первый приезд они с соседями ездили в лес, в Галичский район, за черникой. Ранняя пора, где-то около трех часов, поездка на УАЗике до Галича, потом немного — на электричке. Солнце только показалось, и там, где оно всходило, небо было чисто. Тонкий серп растущей луны над горизонтом все же был заметен среди легких, небольших белых облаков, между которыми синело небо. На земле, из-за еще невысокого солнца, пятнами были видны длинные тени. Стояло прохладное, но ясное утро. Обильная роса на густой, по колено (а Грише и по пояс), траве, по словам взрослых, говорила о предстоящем теплом солнечном дне. Когда они вышли на большую болотистую поляну у смешанного леса, запахи окружили их. Гриша до сих пор помнит — какие это были запахи! Но тут же зазвенели комары. Все надели на головы сетки, а на руки — перчатки... Кругом росли невысокие, снизу с бледными и сверху со светло-зелеными листьями, кусты черники, с отдельно на стеблях расположенными сине-черными ягодами. Свежая черника таяла во рту, куда он поначалу, в отличие от взрослых, клал ее вместо бидончика. Хоть руки и рот были черны от нее, но впечатления остались незабываемые!..

В то лето сестра Галина осталась на год у тети с бабушкой, и Гриша с Кирой ей завидовали.

Но вот они вернулись домой. Начались занятия в школе, незаметно проходили дни. А во второй половине сентября случился вечер, запомнившийся Григорию на всю жизнь — тихий брагинский вечер, словно вот-вот все летнее цветение, запахи и тепло возродятся, а сырость, холод и умирание отойдут куда-то в неведомую даль. Тишина буквально звучала тогда: даже шевеление листка на дереве и треск сухой ветки раздавались далеко-далеко. До сих пор он вспоминает, как хотелось продлить очарование этого вечера, хотя бы еще на миг, и, будто в ответ на его желание, время замедлилось, душа наполнилась радостью детской жизни и, одновременно, неясными ожиданиями. О, если бы он знал тогда, со скольким и сколькими придется прощаться в будущей волнительной, но столь желанной взрослой жизни!

Между усадьбами Новаковских (внуком которых был Борис — тот самый, старший друг Гриши) и приехавших Стрибуков стоял колодец-журавль, и до появления водопровода все жители ходили к нему за водой. Очень любили нашу местность аисты. Они вили гнезда на больших деревьях и на столбах колодцев-журавлей и высиживали птенцов. Осенью аисты улетали на юг.

Мать в начальных классах занималась с Григорием, когда он делал уроки. На заданные ею вопросы он сразу старался угадать ответы. «Не гадай, а думай!» — учила она.

Нельзя сказать, что мать была чересчур жестокой с Гришей. Хотя... Но уж жесткой — это точно. Единственно, когда он болел, она, насколько могла, была терпеливой, доброй и ласковой. Но, если очень злилась на Гришу, могла стать буквально свирепой. А он был большой проказник... Однажды мать, схватив палку, погналась за ним вокруг дома. Дом тогда еще не был огорожен глухим забором, а только со стороны улицы стоял штакетник. От соседей двор и огород ничем не ограждались, и были проемы, через которые можно было пройти с обеих сторон на улицу. Они пробежали круга три, но мать так и не догнала, выдохлась и успокоилась. Это для Григория был ранний урок, как интенсивные физические движения снимают стресс...

Детям, конечно, в той или иной степени, свойственно шалить. Гриша тоже был шалуном, да еще каким, но... никогда не хулиганил.

Однажды на переменке он залез в парту (под верхней наклонной ее доской была полочка, разделенная надвое — для каждого ученика своя) к Софе Рифшиц, где лежали цветные карандаши — целых тридцать шесть штук! — тогда невидаль для ребят из простых семей (отец Софы был главным хирургом района). Раскрыв коробку, Гриша стал перебирать в ней карандаши, любуясь их оттенками, и... случайно уронил. Карандаши рассыпались по полу, что привлекло внимание ребят, которые занимались, кто чем, и до сих пор не замечали эту проказу. Но тут уж Григорий поневоле оказался в центре внимания, и, конечно, как водится, нашлась примерная ученица, которая доложила о произошедшем учительнице, а та на уроке поставила проказника перед классом и сделала внушение, что не след лазить по чужим партам. Он думал, что после этого его посадят на место, и был немало удивлен, когда оставили стоять весь урок, чуть ли не в углу, но лицом к ребятам. Более того, была вызвана с работы мать.

А далее произошло следующее. Мать строго выговорила Грише, но повела после уроков не домой, а прямо к Рифшицам.

Когда они вошли, семейство сидело за обеденным столом. Мать объяснила причину прихода — сын должен перед ними попросить прощения. Их, не предложив раздеться, провели к столу, и мать потребовала от Гриши сделать то, ради чего они пришли. Тот в смущении, весь красный стоял, стесняясь выговорить хоть слово. Наконец, он произнес требуемое, думая, что теперь все закончится и они уйдут, но не тут то было. Мать заставила Григория — как и учительница перед классом — стоять перед обеденным столом до тех пор, пока они не закончили трапезу...

Но, невзирая ни на что, Гриша продолжал озорничать. Рядом жила соседка, полуслепая, уже на пенсии женщина. И он однажды, переодевшись в женскую одежду: мамину юбку, блузку, бабушкины башмаки и кофту, повязав на голову платок и надев оправу от старых очков, подошел к ней и начал разговор. Та вначале спросила, мол, кто вы да откуда, он назвалс я женским именем и сказал, что с Песков — дальнего района Брагина. Соседке было неудобно признаться, что ей, так давно живущей в поселке, не известна старая еврейка N. с Песков, потому она не противилась тому, как он долго-долго старушечьим голосом обсуждал с ней разные вопросы: по хозяйству, ценам, воспитанию детей и внуков и так далее, и тому подобное. А потом, натешившись вдоволь, когда та зашла в дом, взял и запер ее двери снаружи на щеколду. Так и просидела бедная взаперти несколько часов до прихода мужа...

А вот Гриша подсматривает за отцом или вечером неслышно ходит за ним, хлопотушим во дворе по хозяйству, и кривляется, передразнивая все его движения, или забирается на чердак над старой половиной дома и в щель бросает на проходящих мелкий мусор, пугая их...

Но однажды проказы Гриши вновь распространились на школу. Вместо того, чтобы войти в класс через дверь, он полез через окно. В это время по двору школы проходил директор. Он подошел и строго сказал, чтобы нарушитель порядка зашел к нему в кабинет. А тот вместо этого спрятался в уборной (она была сельского типа, во дворе) и заперся там. Не дождавшись в своем кабинете, директор поручил учительнице отыскать проказника. Евдокия Дмитриевна пошла искать, но в уборную она, конечно, заглянуть не догадалась. Однако доброхоты-пронеры, понятное дело, доложили ей, где Гриша прятался. Пришлось все же посетить кабинет директора и выслушать строгое наставление с предупреждением. Учительница потом смеялась, мол, предпочел столько времени просидеть в вонючем нужнике, чем идти на разговор с директором, как будто от него скроешься.

Мать частенько жестоко наказывала Гришу: стегала ремнем, ставила в угол голыми коленями на горох, несколько раз в зимний морозный вечер одевала, открывала дверь и говорила: «Уходи!» Как сейчас он помнит один из таких вечеров: открытые

двери в коридор и далее в сенцы, и на улицу, в темный морозный воздух, откуда в комнату шел двадцатиградусный холод, злую мать, рукой указывающую на дверь, и сидящую в гостях бабу Настю, по природной мудрости своей не вмешивавшуюся в «воспитательный процесс». Григорий одет в пальто и шапку, а зима беснуется у дверей, дышит крепким морозом, мечет в стекла и в сенцы мелкий колочий снег, то затихает, а то вновь бросается на дом, словно хочет зацепить и утащить с собой мальчика, пожертвованного ей матерью, и оттого, что никак не получалось — в бессильной злобе и тоске воет в печной трубе.

Неправильность такого метода воспитания, как, став взрослым, разобрался он, кроме жестокости, конечно, заключалась в следующем: он отлично помнил, что его выгоняли и как это делали, но абсолютно не помнил — за что!..

Григорий очень любил весну. Вот с крыши одна за одной, искрясь в лучах солнца, падают капли, а колеи из утрамбованного снега на дороге блестят, подобно белым фигуркам разных зверушек на буфете у бабушки Насти. По небу, какому-то особенно торжественному в эту пору, плывут облака, и солнце то прячется за них, то вновь выглядывает и, многократно преломляясь, отражаясь ослепляющим блеском в каплях, в тающих льдинках, в звонко и торопливо бегущих дрожащих ручейках, озаряет все кругом. Отвыкшим во вьюжный февраль и серый март от света глазам даже больно смотреть на это сияние, и приходится щуриться. В ярких солнечных лучах радостно плавится, освобождая землю, снег, во всех мало-мальских ложбинках и ямках накапливается талая вода. Прохладный, но уже поющий о тепле среди пока еще голых веток ясеней, лип и тополей, ветер несетя вдоль улицы, однако никто не ежится от него, а наоборот, радостно улыбаются ему как предвестнику долгожданного лета и новой жизни. Гриша знает, что скоро, вслед за потоками полых вод, прилетят летние птицы и зазеленеют яркой молодой листвой уснувшие на зиму деревья.

Как-то Гриша заболел воспалением легких — была высокая температура, кашель,— и мать не отходила от его постели. Когда температура упала и появился аппетит, она с бабушкой Раей кормили больного хлебом с салом и чаем с молоком и медом. Смесь для всех детей наипротивнейшая. Так что придумали? Разрезали сало и хлеб на маленькие кусочки — размером примерно в один квадратный сантиметр, и, положив первое на второе, выстраивали из них «очередь», а Гришу представили как Робин Бобин барабека, который, как известно, «скушал сорок человек», и заставляли каждый маленький бутерброд запивать одним глотком лечебного чая и после этого считать, сколько кусочков съел и сколько осталось. Так постепенно и были «уговорены» необходимые продукты... И все это — с бабушки Раиным терпением и добротой.

В детстве Григорий с сестрами видели от матери очень мало любви и тепла. Она заботилась о них, работала, как вол, и в огороде, и на работе, и по дому. Но не было в ней душевности, или она не могла ее проявить. А строгости и жесткости — хоть отбавляй! Поэтому дети не научились любить и прощать себя. Видимо, мать и сама внутренне недолюбливала себя и переживала какое-то чувство вины, оттого так и было все. Ведь тот, кто не испытывает добрых чувств к себе, и других любить не может. Тети, ее сестры, не страдали отсутствием самолюбия и самоуважения,— и даже очень! — так как бабушка, их мама, всегда любила, уважала, жалела и выделяла их перед матерью.

На всю жизнь запомнил Гриша разразившуюся однажды в Брагине великолепную грозу. Тогда стояла ясная погода, ни ветерка, ни облачка не было на небе. Но

вдруг появилось одно легкое, потом другое, и вот они уже рассыпаны по небосклону, а через некоторое время в них стала замечаться чернота, и они как-то быстро собрались в одну сплошную черную тучу. Издалека был слышен еще тихий гром. Ветра не было, но туча надвигалась на поселок и, благодаря солнцу, резко контрастировала с остальным небом, испуская до земли серые лучи. Вдали уже посверкивало, и погромыживание переходило уже в негромкие раскаты. Появился легкий ветер, повеяло свежестью, и солнце сверкнуло последний раз в просвете тучи и ушло за нее совсем, вокруг потемнело, ветви деревьев и листва затрепетали, а верхушки их стали раскачиваться из стороны в сторону, низко-низко начали метаться на ветру птицы, почувствовалась влажность. Вдруг небо, от горизонта и до горизонта, озарилось молнией, и тут же раздался все возрастающий, с меняющейся тональностью гул, переходящий в сильнейший треск. Ветер еще усилился до шквального, и, вначале капля за каплей, потом все больше и больше, полил сплошной дождь. На песчаной земле образовались небольшие лужицы, в которых забились фонтанчики, потекли желтые ручьи. Когда дождь и ветер стихли, в просвет тучи несмело выглянуло солнце, потом оно вышло совсем и, наконец, залило своим светом все. Ярко заблестела умытая зелень травы, листья, крыши и стекла домов, пыль прибилась, и дышалось легко. Редкие капли падали с деревьев, проводов и козырьков домов на землю, весело щебетали птицы, радуясь возрождению жизни. А запахи какие были от травы, цветов — фиалок, табачков и сирени!..

Летом по краям мостовой лежала сухая мелкая серая пыль, и, когда проезжала машина или телега, поднимались ее клубы. Земля в поселке — не чернозем и не суглинок, но и не песчаная, а какая-то серая. Сама же мостовая была из булыжников, с одной стороны ее лежал деревянный тротуар, а с другой проходила обычная земляная тропа.

Гриша любил пересказывать взрослым прочитанные книги и просмотренные фильмы, причем делал это артистически — в ролях. Почему-то часто, наклеив соответствующие усики и сделав знаменитую челку, изображал Гитлера — с характерными жестами, мимикой и речью.

Гриша с сестрами придумали веселую игру: лежа, опустив голову вниз, любили смотреть на лица людей — они приобретали козлиный вид — и до упаду смеялись. Но...

Однажды между Григорием и сестренками, когда Кире было уже почти семь лет — состоялся серьезный разговор — говорили о будущем, о жизни и смерти, о страхе смерти. И он высказал мысль, что ко времени, когда им будет в среднем по пятьдесят, ученые изобретут средство для бессмертия (начитался фантастических романов). И вообще, уже будет коммунизм — совсем другая жизнь, ведь тогда будут 2000-е годы и XXI век. Они по-детски думали и гадали, какова она будет, эта жизнь, каким будет коммунизм, выказывали желание поскорее стать взрослыми и дожить!

В отрочестве Григорий научился управлять собой во время сновидений. Ему иногда, наверное, как и всем в детстве, снились страшные сны. Вначале он старался проснуться, но подсознание начало разыгрывать с ним злые шутки. Он как бы просыпался и, лежа в постели, видел все до мелочей, как в реальности, вплоть до шевелящихся в лунном свете листочков лип, росших у дома, и слышал даже тиканье часов. И лишь некая нереальная зыбкость и свечение — то ли штор на окне, то ли деревьев, — и Гриша понимал, что это не что иное, как продолжение сна, и вдруг холод и мурашки прокатывались по телу — во сне.

Так было несколько раз. Тогда он изобрел способ выхода из этого лжепросыпания. Он во сне брал два стула, ставил их спинками друг к другу, но на расстоянии полуметра, давал себе установку: делаю кульбит — кувырок через голову с поста-

новкой на ноги — и после него просыпаюсь, выполнял это и уже реально просыпался. Все срабатывало безотказно много лет.

Тяжеловато жилось отроку, но Григорий часто утешал себя тем, что ему плохо не потому, что виноват, а такая у него судьба. Разве при хорошей жизни подобные мысли приходят человеку в голову?..

Когда же Грише было особенно тяжело, он представлял себя либо героем, награждаемым высокой наградой, либо погибшим... над телом которого рыдают те, кого он спас или защитил. Ведь человек должен себя чувствовать счастливым...

Часто, когда детский сон, наконец, смыкал веки, Грише все грезилось, будто теплая, нежная рука гладит его. Он лежит на кровати в большой комнате, на столе горит керосиновая лампа, и никого кругом, только рука все ласкает и ласкает его по волосам, по лбу, по щеке, и он слышит нежный голос бабушки Раи: «Спи, спи, мой милый, спи, хороший». Он будто бы открывает глаза и в неясном, чуть кольшущемся и теплом свете лампы видит такой знакомый и родной силуэт. В порыве он протягивает руки, привлекает его к себе, крепко-крепко обнимает и целует. Любовь окутывает его всего и теплом разливается по всему телу...

В начале шестидесятых годов по стране шло, санкционированное Хрущевым, закрытие церквей. Единственную церковь в Брагине — храм святителя Николая Чудотворца, разрушенный в 1936-м году, но «тихо» функционировавший после войны, — тоже закрыли. Народ — в основном, конечно, бабушки — шепотом «возмущался» в беседах на лавочках.

В те годы в Брагине среди молодежи возникло направление — «стиляги». Это были молодые люди, носившие модную в то время одежду и стрижку. Жители плевали им вслед и смеялись, зло вышучивая и показывая на них пальцем.

Тогда же на Гришиной улице появился первый черно-белый телевизор. Это была большая диковинка, особенно, когда увидели экран, тогда еще небольшой. Привыкли ведь в кинотеатре (вернее, в Доме культуры), пока киномеханик не включит свой аппарат и не погасит в зале свет, к большому белому безжизненному полотнищу. А тут сидишь в комнате — кто на подоконнике, кто на табуретке или стуле, а многие и на полу. Когда показывали финал чемпионата Европы по футболу в Испании, где играла наша команда, ставшая в тот год чемпионом континента, то многие и со двора через окна смотрели — болели! Но пока не стало обычным явлением иметь свой телевизор (в 1964-м, когда Григорий уехал из поселка, их было немного), люди ходили в ДК смотреть кино и на редкие спектакли и концерты, которые завозили к нам гастроллирующие артисты, а иногда и целые труппы.

Однажды в Доме культуры поселка анонсировали концерт, который должны были давать актеры одного из минских театров. Заранее продавались билеты. Мать купила два — себе и Григорию.

И вот наступил долгожданный день концерта. До начала остается совсем немного времени, но тут силу берет материнский «пунктик» — копать в мелочах, до невозможности оттягивая время выхода из дома. «Докопались» они до того, что, естественно, опоздали. Приходят, концерт начался, а места их заняты. Все началось с требования освободить места. Те, кто сидел (к слову, это была одноклассница Гриши Людмила Потоцкая, с которой у него потом были хорошие, дружеские отношения, и ее мать), ни в какую. Ведущая концерта вела свою речь, а скандал развивался по нарастающей, хотя Григорию с матерью служительница ДК предлагала другие места чуть подальше. Мать Григория была очень принципиальной и «давала прикурить» каждому, кто, как казалось ей, покушался на ее достоинство. Даже там, где можно

было простить и пойти на компромисс... Когда дело дошло до крика, занявшие места уступили их, но настроения уже не было никакого, тем более что заметно чувствовались негативные эманации окружающих.

У Григория очень рано в детстве проснулась влюбчивость, а вместе с ней и сексуальность. Первой его любовью была актриса Тамара Семина, игравшая в фильме «Два Федора» Наташу. И он часто представлял себя ее мужем, это — в семь-то лет! Потом Гриша влюбился в реальную девочку — Валю Дудку, а любовь, как известно, требует выражения. И вот, учась в третьем классе, он на задней стороне обложки учебника «Родная речь» написал: «Я люблю Валю Дудку!». И нужно же было такому случиться, что он забыл этот учебник в парте. А может быть, сделал это и осознанно. Книгу нашла девочка, дежурная в этот день по классу, убиравшаяся после уроков, и на следующий день, со всей ответственностью, в начале первого же урока доложила учительнице. Весь класс взорвался от хохота, Валя, густо покраснев от стыда, с выступившими на глазах слезами, вниз лицом упала на парту. Евдокия Дмитриевна сказала Грише, чтобы тот вышел из класса. Что она говорила его одноклассникам, то до сих пор покрыто для него мраком тайны. Но когда Гришу пригласили войти, Валя, хоть и выглядела расстроенной, уже не плакала, ребята успокоились, и уже никто не смеялся. «А может быть, Гриша действительно любит Валю», — сказала учительница в его присутствии.

Но любовь Гриши поистине была несчастной... В один из зимних вечеров, на льду Брагинки, под мостом в центре поселка, был организован каток. Темное, бездонное синело между облаков небо с редкими крупными звездами, а вокруг полной яркой луны облака были окрашены в оранжевый цвет. На катке было много ребят и девчат из их класса. Кто на коньках, кто так, в общем, катались как могли. Любовь в представлении мальчика-подростка требовала задевать девочку, а та должна была реагировать. Как? — Вот в этом и была вся соль. Валя реагировала так, как будто ей были неприятны даже прикосновения Гриши. Самоуважение побуждало его прекратить дальнейшие попытки, но чувство пыталось обратить внутренний и внешний негатив в шутку и изменить и его, и ее отношение к происходящему. Чувство было сильнее, потому попытки «задевать» продолжились. Чуда не произошло. Отрезвил Гришу и заставил уйти с катка только отчаянный крик Вали: «Отстань, дурак!» и обидный смех ребят: «Гусь, гусь, хилый гусь!». Тут же вокруг Вали стали вертеться другие мальчишки, и она, она — его любовь! — стала отвечать им одобрительными улыбками...

А через несколько дней, когда Григорий шел из школы домой, из-за кустов, росших возле ее палисадника, раздался знакомый голос: «...Морда проклятая!» — услышал он.

Однажды на большой перемене, перед последним уроком учебного года и отъездом Вали с родителями на другое место жительства, одноклассники 4-го «А» играли в школьном дворе. Гриша залез по лестнице на четырехметровый турник из бревен. Внизу, чуть в отдалении, в группе девчонок стояла Валя. Поглядывая на нее, сидя на бревне, упираясь в него руками впереди себя и отталкиваясь ими же, он передвигался вперед к шесту, по которому все, и он, неоднократно, спускались вниз, обхватив его руками и ногами и скользя. Но, несмотря на то, что Гриша делал это успешно много раз, сейчас почему-то, видимо, сильнее, чем было нужно, по-ухарски, замахнулся ногами и не попал ими на шест, соответственно, не смог обхватить его, — а уже перекинулся, — и в мановение ока, то есть, с учетом ускорения свободного падения и трения руками, оказался на поверхности земли, с сильным ударом ногами о нее. После такого приземления он несколько минут ходил вприсядку вокруг этого шеста, не имея возможности разогнуться, пока не отпустило.

Придя в класс, Григорий «приземлился» окончательно. Перед началом последнего урока Валя подарила каждому изготовленную своими руками, с индивидуальной надписью красочную открытку. Каждому... кроме одного Гриши! И это первая любовь! Такой травмы в жизни у него не было еще никогда. Шел тогда ему одиннадцатый год.

Одной из влюбленностей Григория, через год после отъезда Вали, стала подруга сестры Галя. Он даже посвятил ей стихотворение, каллиграфически написал его, отнес и вручил ей сложенный вчетверо лист. Но в ответ — никакой положительной реакции. Затем Гриша влюблялся в Лену (из села Орехово), Милу, Люду и Наташу (все это с 5-го по 7-й класс). Но ответного внимания не было. Да и какое ответное чувство могло возникнуть у девочки по отношению к худощавому, длиннорукому, с кистями, похожими на «кисти» скелета, длинношеему мальчугану? Девочкам нравились другие, и их можно понять. Но тогда...

Отягчило же все совращение Гриши рыженькой дочкой парикмахера. Сидели они как-то у него дома, и Инна предложила поиграть в мужа и жену. И для этого, чтобы «было не понарошку», нужно целоваться, и не просто, а языками, и прижиматься друг к другу. И больше ничего, — но, видимо, этого было достаточно, чтобы разбудить в нем раннюю сексуальность. И то, что Гриша целовался (а делали они это потом довольно часто, скрываясь от ее отца, который, зная «пристрастия» своей дочери, буквально преследовал ее по пятам) с девочкой, в которую не был влюблен, и отсутствие в дальнейшем симпатии к нему со стороны других девочек, которых он любил, привело к разрыву двух составляющих — влюбленности и сексуальности. А это, в свою очередь, отразилось в будущей жизни Григория в общении с противоположным полом, разделяя по принципу: мухи отдельно, котлеты отдельно. Но накрепко закрепило это другое происшествие, случившееся с ним в семнадцать лет. Однако, это тема другой, следующей повести...

И еще одно способствовало развитию сексуальности: когда только строился новый дом, у них в комнате, где спала бабушка Аня и все дети, жила еще девушка из села, учившаяся на курсах бухгалтеров. Гриша очень хотел попасть к ней в постель, воображал и намекал — сдерживали его только сестренки, как назло не смыкавшие глаз...

А тогда рано проснувшаяся сексуальность, к субъектам любви никак не проявлявшаяся, проявилась трагическим образом к соседской девочке, и еще к одной девочке, в которых он отнюдь не был влюблен.

История же с первой девочкой была такова. И соития-то никакого не было — Грише было двенадцать лет, а ей семь. Было только прикосновение. Но при этом он, теперешний, не знал, как ему *того* назвать, сказал ей, что этим занимаются все хорошие люди. Родители девочки жили в Минске, и когда она приехала к ним от бабушки поступать в школу, то первым делом похвалилась, чем «хорошим» занималась. Представьте, что было там с родителями и гостями! И что было потом по отношению к Грише со стороны соседей. Дед Светы чуть ли не с топором ломился в дом, где он забаррикадировался. Но дело этим не закончилось.

Родители девочки настолько запугали свою дочь, что страх (чего — Григорий так и не понял, ведь они проводили обследование, и разрыва девственной плевы обнаружено не было), видимо, так довлел над ней все детство и юность, что когда она в семнадцать лет вышла замуж, после росписи в ЗАГСе у нее случился инфаркт, и она умерла. Вот так Гриша стал причиной страдания и смерти невинного человека.

Со второй девочкой у него, находящегося в том же возрасте — двенадцать-четырнадцать лет, — тоже ничего, кроме описанного ранее, не было, но и то, что было, сильно отразилось на ее жизни.

И еще был случай. В Орехово после двух первых loves — к актрисе и Вале Дудке, влюбился Гриша в соседскую девочку Лену, дочь работника леспромхоза. И однажды, играя, признался ей в любви. Младшая сестренка ее, услышав, рассказала

об этом всем взрослым, жившим в доме. И бабушка Рая, тети (тетя Лиля оканчивала институт на год позже и на каникулы приехала в Орехово) и мать устроили Грише «профсоюзное собрание», где долго объясняли, что, во-первых, в таком возрасте рано говорить о любви, так как нужно учиться и так далее; во-вторых, что от любви бывают дети; и в-третьих, что нужно, когда Гриша вырастет, найти девушку по себе, с соответствующим образованием и национальностью, а не «абы кого»... Так шло его воспитание в *этом* плане, или, вернее, планах. Этот разговор и дальнейшая тотальная слежка напрочь уничтожили в нем всю романтику отроческого чувства.

После всех этих взаимоотношений Григорий стал чувствовать презрение ко всему женскому полу, и до двадцати лет у него никаких контактов ни с девушками, ни с женщинами не было. Да и потом, до женитьбы в двадцать три года, эти контакты можно было пересчитать по пальцам одной руки...

Вспоминая все это, Григорий иногда спрашивал себя, а может выбросить все это из памяти, забыть напрочь? И отвечал себе: нет, ведь это хоть и неприятная, но живая правда, то корневое, что лепило характер, судьбу, самую жизнь его. И еще, Григорий достаточно поздно — жаль, что никто не подсказал ранее, — осознал: «из чего еще делать добро, как не из зла?», и как здорово, когда сквозь слой обид, недоброй памяти и всякой дряни — жизненного перегиба — вырастает в начале веточка, потом деревце и, наконец, дерево прощения, добра и любви.

Наряду с негативными моментами были в детстве Григория и позитивные варианты. Например, Люда Потоцкая — та девочка, с мамой которой поругалась Гришина мать при опоздании в ДК на концерт, — в принципе, одна из возможностей будущей семейной жизни (у Григория с ней была душевная близость), если бы он не уехал из Брагина. Была еще одна девочка такого же плана — Вишняк. Но не сбылось...

Все эти перипетии не смогли истребить живую любовь, наполнявшую трепетное сердце Григория, душа его до преклонных лет продолжала расцветать чистыми, светлыми чувствами. Но уже тогда, в детстве, появились и серые очажки обиды, вспыхивающие электрическим разрядом узелки злости, разливались болотца недовольства и крепло с каждым годом чувство холодного, ледяного одиночества.

Гриша был эмоционально неустойчивым мальчиком. Однажды один взрослый, глубоко заглянув ему в глаза, сказал: «Все хорошо, но плохо, что он такой чувствительный...».

Когда Григорию исполнилось 13 лет, мать по знакомству записала его во взрослую библиотеку, и сколько бы интересных и полезных книг он мог перечитать, если бы, в январе 1965 года, то есть практически через год, Григорий не уехал от жесткой, а может быть, жестокой матери — где граница? кто разберет? — к тетке в Тулу, надеясь там найти справедливое к себе отношение и семейную теплоту. Если бы он знал тогда, что есть преступления хуже, чем сжигать книги, это — не читать их. А ведь они являются для души памятью того, что ей близко, помогают ей вспомнить то, что она так глубоко хранит, то, что боится забыть.

У тети Руфы семейная жизнь не сложилась. Вышла она замуж за человека — свою юношескую любовь, — с которым не виделась восемнадцать лет. Уехала в Черновцы, и стали они там жить-поживать... Вдруг через месяц стали приходить жалостные письма, что муж ее садист, спит с ней с ножом под подушкой и принуждает ее к противоестественным половым сношениям, а его тетки (родители погибли) относятся к ней, как к служанке, и понуждают брать с пациентов деньги, мол, у них так принято... Мать Григория тут же мобилизовала себя на все сто — написала письмо на двадцати страницах, как той действовать в каждом конкретном случае — чуть ли не как поселить у себя в постели представителей горисполкома. Да вот одно упустила —

каждый ведь судит о других по себе. Этот «пакет» вскрыли тетки «возлюбленного» и, после ознакомления с подробной «инструкцией», просто-напросто выгнали беременную тетю Руфу на улицу... Приютили ее люди из жалости в ванной комнате — спала с младенцем в ванне. Пыталась она как-то устроиться в городе, обивала пороги, но все безуспешно. И после недолгих мытарств уехала в Тулу, где родилась, устроилась в новую, открывшуюся недавно поликлинику при заводе и как врач получила квартиру. Жила она с мамой — бабушкой Раей и родившейся дочкой.

Мать была умной и мудрой женщиной. Так, когда Григорий уезжал к тете Руфе в Тулу, она говорила ему: «Когда ешь яблоко, места, где черенок и с противоположной стороны, не ешь...— там может быть грязь и химия!» Григорий долго потом вспоминал эти слова,— почему мать вдруг, ни с того ни с сего, так сказала? — прикладывал их к тому, к другому... И был прав, ибо, несмотря на наличие свободного времени, у людей часто не находится и минуты подумать. Потом он понял их истинное значение — у каждой вещи есть внешняя сторона, иногда и глянцева, а есть еще внутреннее содержание, где может быть скрыт яд, отравы... Однако он понял еще и другое — чтобы правильно жить, нужно *искать* смысл жизни. С этого понимания началось его отрочество, его взросление.

В Тулу Григорий ехал зимой, в школьные каникулы. Поезд для него был уже не в новинку — дважды с матерью и сестренками ездил в Орехово и обратно. Но то было летом, а теперь, зимой — снежные поля и обеленные смешанные леса, крыши под снегом деревенских и поселковых домов и вертикальные, в морозную и безветренную погоду, столбы сизого дыма над ними,— все это он видел через оттаявшее, с помощью ладони и дыхания, окошечко в сказочно расцвеченном лучами яркого солнца морозном узоре на окне вагонного купе. Много людей ехало из Гомеля в Москву, каждый по своим делам, но у всех лица светились этой радостью солнечного январского дня.

Электричка из Москвы пришла поздним вечером, и Гриша, по предварительной договоренности, чтобы не плутать среди абсолютно похожих друг на друга пятиэтажек-«хрущевок» в новых микрорайонах города, быстро пешком добрался до еще довоенных знакомых их семьи, благо, они жили недалеко от вокзала на тогдашней Красноармейской улице. Ночь была темная, безлунная, но звездная: в свежем морозном воздухе мелкие звезды дрожали разноцветными огоньками, а те, что покрупнее, переливались, казалось, всеми цветами радуги, снег на тротуаре и стекла неосвещенных окон, покрытые серебристыми пальмово-папоротниковыми узорами, искрились под светом фонарей.

Знакомые — пожилая пара — встретили его доброжелательно, накормили и уложили спать. Наутро Гриша, позавтракав, оправился по адресу тети Руфы. Добрые люди помогли ему сориентироваться, и вот он уже на месте. Городская квартира, по тем временам — теперь же вызывающая пренебрежительную улыбку,— по сравнению с их сельским домом и старым домом, где он ночевал, показалась ему дворцом.

Через несколько дней, когда закончились каникулы, Гришу записали в школу. Так началась его городская жизнь...

Атмосфера в семье была строгая. Все было расписано по пунктам. У Григория были, кроме уроков, свои обязанности: ходить в магазин за продуктами и в газетный киоск (тетя любила читать «За рубежом» и приучала к этому его), активно участвовать в уборке и мытье посуды. Пунктуальность доходила до того, что человек, когда ему клали на тарелку еду, должен был сказать: «Хватит!» или «Еще!», но все полученное съесть буквально до состояния вылизанной тарелки. Своего уголка у Гриши не было. Отдохнуть от уроков он мог только на спортивной площадке у соседнего дома, которая была, как на ладони, видна из окон квартиры. Ни погулять с друзьями, ни куда-то сходить самостоятельно он права не имел. Дело дошло до того, что когда,

учась уже в девятом классе, он записался в секцию по баскетболу и после занятий, в девять вечера, пришел домой, ему устроили скандал с истерикой, отпаиванием сердечными средствами бабушки Раи и последующим, под угрозой отправки в Брагин, запретом заниматься в секции... Дело приняло более легкий оборот, когда другая тетья, Лилия, получила квартиру за репрессированного в 38-м году отца, и Григорий переехал к ней. Тетя Лилия сказала: «Если все запрещать, то получится ни рыба, ни мясо!», и после строгого режима Гриша получил некоторое послабление. А уж когда, через полтора года, семья его переехала в Тулу (предварительно отец устроился на работу и вступил в кооператив) и обрела свою квартиру, продав дом с участком в Брагине, то в обмен на отказ от поступления в московский вуз, он получил полнейшую свободу. Только позвони: где, что и надолго ли... Вот так отрок, зажатый с рождения в тиски всевозможных ограничений, вдруг получил беспредельную вольность. Но это уже другая повесть...

Когда же вся семья собралась в Туле, на родине матери, бабушку Аню не оставили, хотя она наотрез отказывалась уезжать из родных мест — от знакомых, от могил родственников — и плакала. Было ей тогда почти восемьдесят лет. Спала она на раскладушке в комнате Гришиных сестер. Не нашлось для нее денег даже на простую кровать. Весь этот переезд, переживания очень сильно сказались на бабушкином здоровье. У нее создалось навязчивое состояние, выражавшееся в страхе, что ее увезут в Бологое и там убьют. Она часто, съездившись, сидела у радио и напряженно вслушивалась. Потом вдруг вскакивала и голосила: «Унучок! Не дай мяне увязти! Воны хотять мяне забрать у Балагое! Унучок, защыти мяне, унучок!..»

Так длилось полтора года, до инсульта. Она всю жизнь провела на земле в огороде и за шитьем, была очень спокойной и доброжелательной, ничем не болела. А тут за короткое время сгорела. Что значит оторвать человека от родных мест, где он прожил всю жизнь, от родных корней. Умерла бабушка Аня тихо, как и жила...

Мать после всех «битв» и нервотрепок, связанных с переездом в Тулу и перевозом бабушки Ани, заболела воспалением мозговой оболочки, после чего у нее возникла угрюмость и нервозность.

Как часто во взрослой жизни Григорий хотел возвращения,— хотя бы на непродолжительное время,— того детского свежего и беззаботного состояния, наполненности гармонией и красотой, любовью к окружающему, непреодолимой тягой к большой любви и непобедимой верой в будущее. Жизнь, этот «Змей-Горыныч», постоянно поедала те малые ростки, пытавшиеся пробиться сквозь долголетние наслоения. Но они прорастали и прорастали, ибо память детства — это то, что укрепляет силы и надежду на лучшее.

...Теперь да будет позволено автору, дабы читателю стало более ясным многое из выше описанного, перенестись в далекое будущее. Когда Григорию исполнилось пятьдесят четыре года, семидесятивосьмилетняя мать сказала ему: «Ты только родился, а уже смотрел на меня с ненавистью!» И это, так долго, в течение всей жизни, хранимое в душе, было сказано человеком в том возрасте, когда обычно должно приходиться понимание: важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, менялось к лучшему, чтобы лучшая часть тебя развивалась дальше в другом. Но главное не это, а то, что уже с младенчества мать определенным образом относилась к своему ребенку...

Таковым, дорогой читатель, было начало Гришиной жизни...

